

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovniko1ai.ru/> Приятного чтения!

Темняк. Николай Семенович Лесков

Ясным теплым вечером, в виду заходящего за Волгою солнца, мы сидели за чайным столом в скромной деревянной беседке архиерейского сада. Разговор шел о русском христианском миссионерстве: собеседники сравнивали относительно малые успехи наших миссионеров с большим числом приобретений римской церкви и соболезновали об очевидных преимуществах, какие имеют последние. Старый архиепископ Н., тогда уже больной и немощный, сидел в своем глубоком кожаном кресле с откидным пюпитром и, слушая нас, сам не принимал никакого участия в нашем разговоре. Но вдруг, когда мы, осудив своих миссионеров, почитали вопрос уже совершенно исчерпанным, он улыбнулся и молвил:

– Я все слушал вас, господа, и молчал и не скрою от вас, что это молчание было мне очень приятно: оно мысленно перенесло меня в довольно отдаленную эпоху моей жизни, когда я смотрел на миссионерское дело так, как вы теперь смотрите, и сердился, и негодовал, и укорял людей, но потом... изменил свой взгляд по весьма памяtnому мне случаю, о котором я до сих пор никому не рассказывал, а вот теперь, если хотите, расскажу, – случай небезынтересный и поучительный.

Мы, разумеется, поклонились и просили рассказать, и старый владыка начал:

– Дело это относится ко времени моего служения в отдаленном сибирском краю, куда я приехал прямо после моей хиротонии. Там я имел под своим начальством и епархиальное духовенство и миссионеров, обязанных проповедовать слово божие северным кочевым народцам. Осмотревшись у себя на епархии, я был всем недоволен, а особенно моими миссионерами: успехи их были те самые скудные, которые вы так строго осуждаете. И то большая часть людей, которых они нынче обращали в христианство, завтра снова возвращалась в язычество. Да и вся паства-то у меня оказывалась полуязыческая: за пределами городов и поселков, где жили ссыльные, почти повсеместно держалось оскорбительное двоеверие: крещеные молились и Христу и своим идолам, а верили в этих последних положительно больше, чем в Христа. Все это скоро стало мне очень хорошо известно и немало меня сердило и озабочивало: я тогда был еще довольно молод и ревнив, может быть, не по разуму: горячился и сердился на своих миссионеров и неспособен был терпеливо слушать их необстоятельные объяснения, часто державшиеся всё того, что ничего-де им не растолкуешь, станешь им говорить: «Будьте хитры, как змии, незлобивы, яко голуби», а они ничего не понимают, потому что ни змеи, ни голубя не видали и представить их себе не могут, да и слов тех на их языке нет. Я им внушал, что дело проповеди не в этих тонкостях, и вообще пробирал их, и налег я на них очень сильно, что они меня невзлюбили, но стали стараться, а дело между тем всё не клеится: как я его застал при моем приезде, таково оно было и через год. Да еще то прибавилось, что кого мне один миссионер покажет окрещенным, тех, смотрю, через некоторое время другой опять язычниками числит и себе приписывает их обращение: так что я уже не только на деле, а и на бумаге-то толку не доберусь. Все это меня стало выводить из терпения, и я вздумал во что бы то ни стало удостовериться, что за причина, что слово божие не вселяется в эти простые души, которые мне были уже известны своею удивительною незлобивою, с которою они переносили, а может быть и до сих пор переносят, самое дурное обращение. Все это я знал от крещеного самоеда, у которого их языку учился. На дворе стояла жестокая зима; дела у меня по моей щедеушной епархии было немного; всех ставленников я перестриг; всех пьяных и сварливых дьячков как умел разобрал, ученый труд никакой как-то в голову не шел; а без дела я не любил оставаться, да и просто вам сказать: не сиделось мне что-то в моем маленьком монастырьке, в тесной и душной келье. Вот и пришла мне тут в один зимний вечер отважная мысль.

«А что, – вздумал я себе, – вместо того, чтобы мне здесь слоняться из угла в угол под этими низкими сводами, навещу-ка я сам мать-пустыню, пробегу-ка я сам по дальним окраинам моей паствы да взгляну, что там за непостоянные люди живут и как за них надо умнее взяться».

Характер у меня тогда был живой, а на подъем я всегда был лёгок: что сказано, то и сделано. Позвал я к себе тут же ночью одного молодого иеромонаха Петра, который все у меня в миссионеры просился, но я его не пускал, потому что всё мне на него наговаривали опытные старики, что он будто «суетен» – отличиться хочет. Ну, а тут я раздумал, что не напрасен ли этот наговор, да мне к тому же ретивый

Темняк. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
товарищ был и нужен. Вот я призвал этого отца Петра, и говорю ему:

– Ну, отец Петр, ты все охотился в край идти поапостольствовать, я вздумал тебя пустить. Поди-ка скоро потеплее изготопись, мы с тобою утром далеко вместе поедем.

Я себе так решил, что разделим мы с этим отцом Петром труд пополам: я буду учить, а он крестить, и посмотрим, что выйдет. И в ту же самую ночь перед утром оделись мы поплотнее по-туземному, захватили с собою кое-каких съестных припасов: сухарей, рыбы, да гороху, да ромку фляжку про жестокую стыдь – и поехали.

Выехали мы из города в больших санях и никому не сказавшись, куда мы едем, да и сопутник-то мой настояще ничего не знал про мою затею. Мне это так нравилось скрывать от него свой план как можно секретнее. Проехали мы сутки на конях, и весь конный путь кончился: побежали мы по насту на оленях. Езда эта для меня была новость, чрезвычайно меня занимала: я еще в детстве помню, как у нас в доме у отца картинка висела, где лапландец на оленях скакал, и мне всегда представлялось огромное удовольствие этой быстрой скачки. Но на деле оно вышло, однако, не так приятно: передо мною действительно были олени, но совсем не те, быстрые и красивые олени моего детства, а неловкие, с разлатыми лапами, бежали они тяжело и нетвердо, понунив голову и с задышкой, ноздри у них замерзают, и они дышат ртом, и так и бегут все рот открывши, и от этого их тяжелого дыхания в мерзлом воздухе пар собирался и так за нами и полз облаком. Совсем даже смотреть на них жалко, и вообще все не так, как было у нас дома на картинке. Ну, вот пробежали мы на оленьих, и на них нельзя стало дольше ехать: запрягли собачонок, – собачонки этикие серые, лохматые, много на волков схожи. Салазки длинные, а помещение на них короткое: сам сядешь, да поводырь впереди прилепится, а более и места нет. Пришлось нам с отцом Петром разделиться и ехать порознь на двух санях: в одни сани запрягли одиннадцать собак и в другие одиннадцать. Расселись мы так: на одних я да самоед, да со мною узелочек с крестом, с книгами да с облачением, а на других отец Петр с подводчиком и с ними наш кошель с съестной провизией. Ничего, сначала гоже показалось: приладились, малицами подоткнулись и едем; а я все то по сторонам гляжу, то возницу своего рассматриваю: сидит как столбик, и на чем он сидит, не поймешь: весь как кукла скутан, лицо как грязный обмылок серый, глаз нет, – только щелки какие-то, нос сучком, рот – ящичком: выражения никакого, словно никогда он не знал никаких страстей и ни горя, ни радостей. Пробежали первый день бодро и другой ничего, только мой отец Петр стал покряхтывать: я, чтобы его подбодрить, посмеиваюсь, а он жалуется, что от долгого сиденья будто поясницу очень разломило. Ну, сиденье, разумеется, не то, что дома в вольтеровом кресле с газетою: торчишь столбушком и туда-сюда покачивает, того гляди, как бы не вывалиться; однако я все продолжал свою усталость скрывать и над товарищем подтрунивать:

– Эх, ничего, – говорю, – отец Петр: потрудись, друже: слово-то божие проповедовать, ведь это не то, что в теплой трапезе за горшком со сметкою сидеть: помужествуй!

Но он, вижу, унывает и говорит, что:

– Я ведь, – говорит, – не каменный.

– Не каменный, – отвечаю, – да Петр, будь же камнем и жди, что на тебе оснует господь.

Но он, вижу, от моих слов не ободряется и на следующем привале еще больше раскряхтелся. А я опять шучу и говорю:

– Ах ты, отец Петр, отец Петр; имя у тебя славное, а тем только ты и выходишь Петр, что ты мне соблазн.

Говорю это ему с веселою шуткою и сам все бодрюсь, а того и не думаю: какое не ему, а мне готовится нравоучение в сем соблазне.

На третий день, однако, и я сильно ослабел, все стало меня в этот день с самого утра ко сну клонить: качаюсь, качаюсь – и задремлю, и опять проснусь и опять покачаюсь, – лицо с бороною в оленью малицу поплотнее задвину и опять сплю. И вдруг просыпаюсь и вижу, что я, должно быть, долгонько проспал, потому что

Темняк. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
вокруг совсем серо. Пустил я руку за пазуху, пожал репетир, – ударило всего два часа. Два часа, а совсем темно! Что такое, думаю, за лихо, а раскрыл пошире глаза, то и вижу, что на степи метет.

- Ведь это метель метет? – спрашиваю у своего самоеда.
- Метет, бачка, – отвечает, а сам все вперед смотрит и орстелем помахивает.
- Ты смотри же, – говорю, – ладно ли мы едем.
- А как же, – говорит, – я смотрю, – и опять тычет в снег орстель.
- А задние-то за нами ли?
- За нами, бачка, за нами.
- Близко?
- Близко, бачка: вот они.

Так твердо говорит, что я сам и не обернулся, чтобы удостовериться, а еду себе да рассуждаю: «Что же, на то, мол, она Сибирь, чтобы метель повидать, а от дождя же не в воду бежать, да и некуда. А потому же, видно, и опасности никакой нет», потому что дикарь-то мой уж очень спокойно мне отвечал на мои вопросы – так спокойно, что вот теперь этому делу минул уже не один десяток лет, а я точно сейчас слышу его голос, веселый, полный и уповательный. Они ведь обыкновенно скверно говорят – невнятно: половину слова во рту произносят, а половину и до рта не допускают, а где-то в глотке сказывают, – надо больше тон, чем звук понимать, а тон был самый успокоительный.

- Ладно, – говорит, – бачка, ничего, хорошо едем.

Превосходно это его спокойствие на меня действовало, и я успокоился и, чего бы вы, вероятно, никак не ожидали, начал опять спать, и уже на сей раз как заснул, то и не знаю сколько я проспал; но только пробуждение мое было самое невеселое: чувствую я, что совсем я валюсь и снег самый дробный да как ледышки острый – так мне всюду и жигает. Хочу глаза открыть, но веки смерзлись и не открываются; а между тем меня кто-то сильно, как медведь, за плечи трясет, так что мне и взаправду показалось, уж не у зверя ли я в лапах? Но через минуту вдруг мелькнула мне другая мысль: думаю, чего доброго это меня мой самоед завез в какую-нибудь трущобу и убить хочет. И в этом помыслил: дай же я притворюсь, будто сплю, авось отец Петр подъедет и мне помощь подаст. Но только отца Петра нет. Думаю, верно и его другой дикарь прикончил, а мой самоед все меня сильнее толкает и кричит:

- Прочкнись, бачка, прочкнись, а то совсем застынешь.

А это, вижу, дело на иную статью: надо ему отвечать.

- Что такое, – говорю, – в чем дело?
- Дело такое, – отвечает, – смять большая пошла – путь потеряли.
- Ах ты, мол, пустоша этакой, как ты путь потерял?
- А так, бачка, видишь, – говорит, – вихря кругом вертит, собачка следа не чует.

Помочил я теплой слюной веки – смотрю, а темень, как в пекле, страшная, и метель метет несусветная. Самоед мой со своим орстелем стоит возле меня, а собачонки все кучкой под салазки сбились и всё теснее жмутся, как меня не выбросят.

«Лихая беда!» – думаю, и все опять мне в голову лезет пустая мысль, что это он меня нарочно завез не зная куда и убить хочет. «Знает он, – думаю себе, – что я архиерей, и, верно, пришла ему злая мысль: стукнет меня орстелем по маковке да скинет с саней, а самого поминай как звали». Так этого и жду, и таю в себе эту мысль, а сам спрашиваю:

- Где же, – говорю, – мы теперь?

- А я, – отвечает, – этого, бачка, и сам не знаю.
- Как же, – говорю, – ты не знаешь? – ведь ты поводырь.
- А что, – говорит, – поводырь, а видишь, вокруг все вертит, – собачка за ветром следок сгубила.
- «Ах ты, горе мое», – думаю. – Где же наши задние сани?
- Нет их, бачка: в ветру пропали.
- Как пропали?
- Разбило, – говорит, – нас, – пропали.
- Пропали? Ну так, брат, когда они пропали, так и мы же с тобою пропадем.
- Зачем, – отвечает, – бачка, пропадем: это как захочет.
- Кто как захочет?
- А тот, кто больше-то нас: мы ведь в его воле.
- Да; вот, мол, ты как рассуждаешь, – а самому, знаете, стыдно стало: я архиерей, еду им веру проповедовать, и сам сразу сробел и отчаялся, а он меня уповать учит. «Стыдно, – думаю, – тебе, владыко, и счастье твое, что тебе краснеть только не перед кем».
- Кричи, – говорю, – их; может быть услышат.
- Где, бачка, кричать, видишь, какой буран, – ничего слышать будет.
- И, точно, вой бури ужаснейший. Я повернулся сам на санях, хотел крикнуть, но только рот раскрыл, как меня и задушило, – ветром как во все нутро заткнуло. Зато в глазах словно какой-то внутренний свет блеснул, и показалось мне, что вблизи нас что-то темное, как стена высится.
- Что это, – спрашиваю, – впереди чернеется?
- А это, – говорит, – бачка, лес, я нарочно тебя к лесу завез: вылезай скорей.
- «Ну, – думаю, – так и есть, что он хочет мне карачун задать».
- Чего, – говорю, – вылезать?
- А в снежок ляжем да обоймемся: тепло будет.
- Что делать? – надо его слушаться.
- Выполз я из-под застёга, а он оборотил санки, поставил ребром куда мало шло к затиши и говорит:
- Вались, бачка, в снег, я тебя греть стану.
- Не охота мне была в снег нырять, а однако согнул колени и прилег, а самоед на меня оленьи кожи накиннул, что на дне в санях лежали, и сам сюда же под них подобрался и говорит:
- Вертись, бачка, ко мне рылом, – обнимемся.
- Вы этого «рыла», обращенного к моей чести, не принимайте за грубость: у них многих слов нет. «Лицо» – это для них слишком большая тонкость, а морда да рыло употребляется для всех без различия сотворенных и в шестой день и в пятый.
- Нечего было делать: обернулся. Запах от него несносный: и потная грязь, и рыбий вонючий жир, и все, кажется, мерзости вместе обоняешь, тут еще он чего-то сопит и все в лицо мне дует.

– Не сопи, – говорю, – зачем ты мне в лицо сопишь?

– А я это нарочно, – отвечает, – морду тебе, бачка, отдуваю. Согреешься, спать будешь.

«Ну, куда тут, – думаю, – спать: и студено и волжко под шкурою, и от него тот дух тяжелый промялый[?] и рыбой и кислятиной».

Лежу, задыхаюсь, а он захрапел. Досадно мне, мочи нет, стало, что он спит, а от спертого дыханья сделалось во всем такое раздражение, что и сказать вам не могу. В нетерпении толкнул я самоеда и говорю ему нетерпеливо: «Не спи!»

– А зачем, – говорит, – бачка, не спать: теперь тепленько; бачка, спи, а то ша[й]таны всю[ночь] разберут.

«Ну да, – думаю, – вот тебе и довод: непременно бы надо спать, чтобы ша[й]танам ночь не дать, да не спится». Попробую, думаю, с ним поговорить, спрашиваю его:

– Скажи ты мне: ты крещеный или нет?

– Я-то, – отвечает, – нет, бачка, я счастливый; я некрещеный, – за меня старший брат крестился.

– Как за тебя крестился?

– Так, бачка: крестился.

– Да разве это можно?

– Можно, бачка.

– Врешь ты.

– Нет, бачка, можно.

«Ну, – думаю, – тебе, видно, больше моего об этом известно: тебе и книги в руки».

И зашла у нас тут под этим шатром беседа: я не верю ему, как это можно, чтобы у него был брат, который за него крестился. А он уверяет, что этот брат и не за него за одного, а и еще за третьего своего брата тоже крестился. Я не верю, а он уверяет:

– Нет; это, бачка, справедливо так, как я тебе сказываю: он за всех крестился.

– Да зачем же это?

– А он нас, – говорит, – жалеет, потому что кого родные жалеют, так прячут, а сами за них крестятся, и меня прятали; а как попы приедут да станут скликать, брат опять заместо меня креститься ходил.

– Он, – говорю, – стало быть, у тебя добрый, брат-то?

– А как же, бачка, добрый, – он и за нас за обоих братьев открестился.

– Гм; открестился!

– Открестился, бачко, открестился.

– И что же, – говорю, – теперь он, окрестясь, веру держит?

– Как же, бачка, держит: его теперь Кузьма-Демьян дражнут.

– Это его так зовут: Козьма Демьян?

– Так, бачка, зовут: Кузьма-Демьян.

- Какая же, – говорю, – у него больше вера?
- А все одну, – говорит, – бачка, веру, все одну веру держим: молимся.
- Богу молитесь?
- Ему, бачка, ему.
- И крещеные и некрещеные вместе?
- Да, бачка, да, все вместе, ведь всё одно: у всех он один.
- Один – бог-то?
- Один, бачка, один.
- Ты это твердо знаешь?
- Как же, бачка, не знать: твердо знаю.
- А для чего ты его прямо не называешь бог, а все этак, не произнося его имени, говоришь?
- А на что же его, бачка, произносить? – не надо.
- Как не надо?
- Не надо, бачка, не годится.
- Да почему?
- Потому, что мы того, бачка, не стоим.
- А кто тебе все это сказал?
- А?
- Кто сказал?
- Никто, бачка, не сказал: сам знаю.

«Что же, – думаю, – разум прежде слова явился», и пока об этом его состоянии помечтал да хотел его подробно пораспытать, какие еще у него о боге понятия, а он опять захрапел. Мне же хоть глаза выколи: ни на минуту заснуть не могу, и ноги и руки одервенели, и около сердца нестерпимый мучительный жар собирается и неодолимая жажда.

Я повернул голову, захватил губами снежку и начал его сосать: делается будто легче немножечко, но только на одну минуту, а там опять жжет, и вдруг среди этих-то мук, словно как из ада, наскочила новая: есть захотелось. И тут я с ужасом вспомнил, что весь мой съестной запас был с отцом Петром. Все ужасы голодной смерти мне так и полезли в голову, а аппетит растет с каждым мгновением и уже, кажется, мучить начинает. Прошедший день я за своею дремотою ни маковой росинки в рот не брал, а теперь как освежил снежком горло, так и горит в желудке и щемит. Не могу удержать своих мыслей, которые все летят с бурей к кошелю с хлебом и сухой рыбкой... Смерть, просто смерть! И давай я опять будить своего товарища. Насилу растолкал и спрашиваю: «Нет ли у тебя, приятель, что-нибудь поесть?»

- Нет, – говорит, – бачка, ничего нет.
- А дай же мне хоть собачьего корму.
- И собачий корм, – отвечает, – на тех санях.
- Так что же, – говорю, – ведь этак мы с тобою друг друга съедим.
- Нет, бачка, зачем человека есть, – не надо.

- Ну так голодную смертью умрем!
- А это, бачка, как старик позволит, так и околеем.
- Про какого ты старика бурчишь?
- А что над нами-то, бачка.
- Так это ты его стариком зовешь?
- А как же, бачка: ведь он давно, бачка, живет.
- Давно, брат: прежде всех.
- Да, бачка, давно, а ты, бачка, теперь спи: во сне есть не манится, - и опять захрапел.

Но куда тут спать: двинул я в отчаянии от себя подальше прочь своего самоеда, чтобы меня по крайней мере рыбьим жиром не душило, прокопал под шкуру малую дырочку, и стал дышать через снег, и опять было забредил наяву съестным, но потом стал думать о давно, давно мною в юности читанной чужеземной книжечке «Старик - везде и нигде» и сравнивать мысли того автора с теми, что думает мой самоед, и незаметно для себя уснул. И не сумею вам сказать: сколько я проспал, но только во всяком случае более суток, потому что, когда я, проснувшись, опустил руку к часам, то они стояли: я попробовал их ключом и удостоверился, что они не испорчены, а весь завод сошел. На небе было что-то непонятное: не то день, не то светило северное сияние, - так мерцало что-то из-за леса. Буря же стихла, и самоед мой, проснувшийся раньше меня, уже ворочался около наших салазок: шкуры он с меня, верно, давно стащил, и намостил их опять на саночки, и собачонок в упряжь цепляет. А я вижу себя, что лежу в глубокой снеговой яме, как меня тут заметало, пока я спал, и опять подумал: «Не хочет ли он меня бросить?»

«В таком разе, - думаю, - я очень вовремя проснулся», - и сейчас же встал на ноги и зашатался: так они ослабели от голода ли, или я намучил их, валяясь в сырости и в неудобном положении, потому что все в комок гнулся от холода.

Однако, как меня ни шатало, я выкарабкался и подхожу к своему дикарю: он на меня взглянул, как всегда глядел своими разбегающимися щелками, и говорит:

- А я тебя, бачка, сейчас только будить хотел.

Признаюсь, я ему не вполне поверил и, ничего не отвечая, присел на санки, но ног закинуть как нужно на сани не в состоянии. Самоед это заметил и, ни слова не говоря, помог мне: усадил и малицею вокруг подоткнул, - и мы поехали.

Из всех дней, которые я провел в этом погибельном пути, этот день, по-моему, был самый тягостный: едем, вижу, сами не знаем куда, самоед молчит, а я его уже не спрашиваю, потому что и так мне ясно, что мы путаем. Собачонки же все нюхают и вертятся и повизгивать начали. Визжат они прескверно, как-то будто похаркивают, а в этой мертвой, пустынной тишине эти звуки далеко разносятся. Только вдруг одна собачонка упала и завертелась. Я сначала не понял, что это значит, и никакой этому не придавал важности, но удивился только, что мой самоед сунул мне орстель и говорит: «Держи, бачка, сильнее», а сам спрыгнул проворнее, чем всегда сходил, снял с этой собачонки хомут и веревочку и потянул ее за шиворот к дереву. Я не мог наблюдать, что он там делает, потому что другие собачонки дергали и я, понимая опасность, из всех сил в снегу орстель держал, как мне было самоедом указано.

Но только слышал, как там собачонка жалостно визгнула, и самоед мой уже опять на месте: взял у меня из рук орстель - и покатили.

Я оглянулся назад и вижу: собака висит на обындевелом суку, за задние ноги привязана, а нутро у нее все выпущено - одной раной зияет.

- Это, - спрашиваю, - ты ее в жертву, что ли, принес?
- Да, бачка, - отвечает, - пусть и шайтан съест: она спотыкаться стала.

Я еще пошутил:

– Что же, – говорю, – ты ему самую дохлую дал?

– А что, бачка: ничего.

– Да, ничего, – говорю, – он больше и не стоит.

Он не отвечал, и опять едем.

Соображаю, что если уже и на собак голод стал так действовать, то смерть нас где-нибудь недалеко ждет. Собрал я все мужество, чтобы встретить ее, эту мучительную голодную смерть среди ледяной пустыни. Но едва ли его и надо было собирать – тут все как-то в сборе было, и ум, и глупость, и тупость рассуждения: состояние совсем особенное – состояние какой-то затерянности. И самый голод, кажется, не так чувствуешь, как он обыкновенно ощущается, когда есть хочется, а тут только чувствуешь, что тебе все нутро ведет, как кожух перед огнем в кучу собирает, и равнодушие ко всему бесконечное – даже к собственной судьбе своей, – избавления жарко пожелать не можешь. Пришел было на минутку я в себя, как у нас другая собачонка закувыркалась, – и самоед и эту в жертву принес, и опять погрузился в отупение. Часы я свои утром завел и наугад их поставил, да и не смотрю на них, потому что пользы нет, а день был морозный, красный, и стало склоняться к вечеру. Мы неслись через безбрежную холмистую снеговую степь и вдруг, поднявшись из одного удоля, опять вылетели на лесную опушку, и тут у нас третья собачонка закувыркалась. Самоед встал, ее приколол, а других выпряг и молча сел на краек саней; взял орстель, в колени зажал, руки за пазуху в малицу спрятал, а голову опустил.

– Что же, – говорю, – брат, что же это такое будет: здесь, что ли, наша смерть?

– Не мешай, – отвечает, – бачка: я молюсь.

И вдруг встал, приложил к уху рукавицу и все слушал, слушал что-то сперва в одну сторону, потом в другую, и пошел. И как пошел, так и нет его, и нет, да и только. Сажу я один на салазках и гляжу, как еще одна собачонка закувыркалась, а остальные вокруг нее сидят да харчат, а потом вдруг все как схватятся и гурьбой так варом и заварили в сторону и пропали, – верно зверя почуяли.

«Ну, – думаю, – теперь уже и спастись не на чем», и сажу опять на своем месте, и слышу, что в лесу как будто что-то хрустнуло, и еще, и еще ближе: верно, зверь, – ан наместо того мой дикарь.

– Здравствуй, – говорит, – бачка.

– Где ты ходил? – говорю ему с укоризною.

А он отвечает:

– Примет искал.

– Примет пустых ты в лесу необитаемом искал, а туг все наши живые собачонки убежали.

– А пусть ее, бачка, собачка уйдет, зачем же ей издыхать: она зверя затравит, жива станет.

– Ну да, – отвечаю, – она жива станет, а мы место ее не будем жить.

– Нет, бачка, будем.

– Перестань, – говорю, – врать.

– Нет, будем, бачка.

– Отчего же так будем? Кто тебе это сказал?

А он мне вместо ответа пальцем вверх показывает.

– Глянь, – говорит, – на это дерево!

Я поглядел, – дерево как дерево, – ничего особенного нет. Говорю ему:

– Я ничего не вижу.

– Как же не видишь, – отвечает, – а вон на одной ветке снежку мало.

Стал я опять смотреть: ель как ель – вся в инее и ветвей на ней не счесть сколько и все одинаковы – все снегом убраны под навесами и врозь торчат.

Что он мне ни показывал, как ни толковал, никак я его приметы отличить не мог, а он утверждает, что:

– Вот это, – говорит, – веточка не с этого дерева.

– Ну так что же, – говорю, – это ее ветер занес.

– Нет, – говорит, – бачка, это ее человек посадил: я далеко ходил смотрел, там еще есть такая приметка: тут, бачка, чум есть.

И с этим нагинается под салазки и лыжи достает.

– Бога ты бойся, – говорю, – неужто ты хочешь бежать?

– А как же, бачка, надо бежать.

– А я как же буду?

– А ты, бачка, на древо полезай – сиди; а то тебя ночью волк разорвет.

– Да ты далеко ли побежишь-то?

– Далеко, бачка, далеко: палка далеко кажет.

– Ты, – говорю, – меня бросить хочешь.

– Нет, – отвечает, – бачка, зачем бросать: я тебе есть принесу.

«Что же мне с ним делать, – думаю, – силою мне его при себе не удержать, да и незачем: если псы, свою жизнь спасая, хозяина бросили, почему же ему, язычнику, меня, христианина, не кинуть?»

А пока я так рассуждал, он уже лыжи приснастил и говорит:

– Прощай, бачка! Жди! – да как двинул ногой, так враз на сажень отлетел, а через минуту и с глаз скрылся.

Остаюсь я один умирать: сажу на краю саней, как ворон на нырище, и стыну.

Пока вечерело, глядел на околевавшую собачонку и все думал, что вот скоро и мне то самое достанется, а тем временем стемнело, и потом вдруг вызвездило: небо совсем черное, как темный шатер раскинут, а звезды красные, горят, и, кажется, очень низко; а света от них нисколько. Унылость безмерная, тишина жуткая: я был в каком-то бесчувствии и не страдал и не заметил, как взошло солнышко. Оно показалось красное в южной стороне, очень далеко и быстро стало на своем зените, а ничего не оживило: и все тот же сумрачный предрассветный свет. Прилетели и сели неподалеку какие-то белые степные птицы – расхаживают, машут крыльями и что-то рассаживаются. Рассадятся и опять начинают друг через дружку перелетывать, и таким манером все дальше и дальше – и совсем исчезли. Опять ни следа жизни; однако это был обман: на ветвях одной сосны мое внимание привлекли какие-то комочки; я стал всматриваться, что бы это такое пристало и снегом облипло, ан вдруг один комочек встрепенулся, и оказалась какая-то птица вроде сороки. Потормошила она и опять нахохрилась, села и опять сидит неподвижно, как окаменевшая. А между тем день уже пошел к вечеру, и тут моим глазам явилась картина, которой описать не сумею, но и забыть не смогу. Дело было в игре света – как только солнце взяло на склон, пошли фокусы: снега стали отливать розовым,

особенно по склонам, а вблизи откуда-то взялся синеватый свет. В воздухе он и везде по снегу, и особенно где лошинка или яминка, так там и выстлал густой, густой синевой; во всякой трещинке в снегу сине: где ногой ступишь, и тот в следу уже синее; палкой ткнешь – и там сине и как будто какой-то тонкий голубой пар клубит, – полагаю, должно быть, какое-то фосфорическое явление. И вот тут-то, в этом обманном свете, я испытал на себе влияния самые странные: мое зрение тоже меня стало обманывать. Все не в свою величину стало казаться: те две сороки, о которых я раньше говорил, на снег сели и показались мне такие огромные, что даже смотреть страшно; а моя издохшая собачонка что твой белый полярный медведь лежит. Но солнце село, и снова быстро стало темнеть: самоеда моего нет. Незадолго перед сим так легко синевшие ущелия первые стемнели и покрылись мраком, на равнинах за клубилась белая мгла, и, чего вчера не было, – недавно столь нежно-розовые скалы гор засеребрились. Я взглянул вверх и увидел над собою луну. Не знаю, которая картина была величественнее: дневная или ночная, но знаю, что ни той, ни другой я не мог тогда любоваться, как люблюсь ими ныне в воспоминании. Эта ночь для меня была смерть, и я, признаюсь, ждал ее, как желанную, и молил, да придет она скорее, чтобы еще не мучиться. Во весь этот день я съел только несколько семечек из еловой шишки, чтобы хоть обмануть желудок, и хотел пойти поднять еще одну шишку, которую заметил днем вблизи моей собаки. Но лишь я сделал сюда шаг, как меня остановило неожиданное появление в воздухе чего-то, по-видимому, очень большого, что плавало именно как раз над павшей собакою. Я сообразил, что это какая-то хищная ночная птица, и вспомнил, что мне говорил самоед, что сюда придет еще и волк. Инстинкт самосохранения заставил меня подумать о совете сего жестокого самоеда, и я стал выбирать дерево, на которое удобнее влезть и переночевать. Выбирал, выбирал глазами: все кажутся одинаковы, никак не решусь, которое, предпочесть; но среди этих соображений вдруг мне показалось, что вдали во мгле по полю как будто какой мяч промахнул. «Это, – думаю, – непременно волк: надо улепетывать». И вот я полез на сосну. Откровенно сказать, это мне не легко далось. В ребячьи годы я когда-то проворен и охоч был и в воду нырять и на деревья лазить, да ведь то были другие годы, да наряда на мне такого не было; а тут сапоги чуть не по полупуду, да ватный подрясник, да оленья шуба: совсем неспособно, а к тому же и отоцал – ослабел. Однако как-то изловчился, и архиерейство мое, вспоминая ребячьи ухватки, пыхтя долезло по стволу до первых сучьев, а там уже легче пошло. Все я хотел выбрать себе, где бы получше усесться, чтобы было обо что опереться спиной, и, поднимаясь с сука на сук все выше и выше, – и сам того не заметил, как очутился на самом верху сосны. И снега, и неба передо мною открылось необъятно много: вижу и серебряные вершины гор, и белую мглу плоскостей, и тьму долин и лесов, а над головою блестели созвездия Ориона и Плеяды, эти ночные небесные часы, и Млечный Путь, протянувшись из конца в конец через все небо, как холст висит. Картина опять великолепная, а при ней тишина безмолвная и тягостная: отдыхая на суке от своей усиленной гимнастики, я слышал только свой собственный пульс и изнуренное дыхание. Затем, не знаю как сказать, что за состояние было, но, должно быть, я спал, и в этом-то состоянии вдруг услышал как будто человеческий стон, и на минуту проснулся и увидел внизу под деревом как бы тени какие-то, – шмыгнули они как-то туда-сюда, рванули что-то и унеслись. Я сметил, что это, должно быть, волки моих собачек забирали, и сейчас же опять впал в это непонятное состояние – как бы заснул. Просыпаюсь – уже утро: опять солнце всходит, как вчера выходило: день стоит, а все ещё дня ждешь. Сил совсем не стало, а голод еще мучительнее. Я стал опускаться с дерева: на снегу действительно было много следов, и собачки мои исчезли, – только два-три клочка серой шерсти валялись. Мучительно было на все смотреть и как-то безразлично: нашел я сосновую шишку, достал из нее несколько семечек и проглотил: смола-смолой, а никакого питания нет, даже и обманчивого, и ходить более сил нет. Стал я, как истукан, и стою, гляжу вдаль и решительно уже ни о чем не думаю и о спасении своем не помышляю, а только начали мне вспоминаться тут давние дела и давние годы, когда я тоже, мнилось, погибал и мне являлась чудесная помощь.

Видел я самого себя мальчиком; на дворе стояло чудесное лето: так и тянуло за город гулять, а я в пестрядинном халате хожу по вытопанному училищному двору с книжечкой, и страстно мне хочется в лес. Открыл я эту мысль товарищу – ему захотелось, а он другим сказал и зажег всех одним огнем: все в лес хотим. И выбрали мы тут депутацию идти к начальству рекреации просить. Я – зачинщик, первый и проситься пошел. Взял я с собою трех товарищей из первого десятка лучших учеников и являемся к смотрителю. А на училищном дворе у нас было такое расположение, что смотрительский флигель стоял на одной стороне, а на другой училищный корпус, около которого все и жмутся, а мы вчетвером несмелыми стопами движем к смотрителю. Смотритель был[монах] грозный, и мы его жестоко боялись.

Держим друг дружку за руки, но на крыльцо к нему боимся идти, а стали против окон, и как он выглянул, мы к нему с просьбой: «Отпустите!» Не в добрый час попали: он нас обругал и велел в класс идти. Тут у меня откуда ни возьмись и отвага:

– Стой, – говорю, – братцы, – ничего, нам будет рекреация, только сейчас все веселыми притворитесь, побежим и закричим: отпустил!

Так и сделали, бежим и кричим: «Айда, ребята! отпустил, отпустил!»

Подтверждения, разумеется, никто не спрашивал, – все так и сыпнули, сторожа в воротах смяли и выскочили на выгон, – и поминай как нас звали. Смотритель выбежал на крыльцо, кричит, руками машет: «Вернуть, вернуть их, таких-сяких», да кто нас вернет, когда мы уже, как дикие жеребята, удрали.

День целый мы гуляли, купались, рыбку ловили, кашу варили, и всем нам было очень весело: уворованная рекреация удалась лучше всех дозволенных, но только у меня, который был всему делу виною, к полудню стало сердце щемить. Стало приходиться в голову: «А что-то мне будет, как придется домой возвращаться?» Что далее, то хуже это меня мучит, а к вечеру обуяла меня истома, что точно душа с телом расстается, – так страшна мне казалась неотвратимая расправа. Не помню сам, как я вернулся в училище, и только что переступил порог каморы, как первое, что вижу, – стоит лохань, и из нее торчат два огромных пука розог. Глянул на товарищей, а те все побледнели и шепчут мне: «Это тебя драть будут». Не взвидел я света, шмыгнул назад и хотел в реку бежать утопиться, но наместо того, не знаю как, явился в смотрительской кухне. Должно быть, я прощения хотел просить, но как тут никого не было, то я упал на колени перед образом и стал жарко молиться. Но вдруг, услышав смотрительский голос, оробел, схватил с кухонной полочки икону, и выбежал с нею вон, и очутился под полком смотрительской бани. Баня эта стояла далеко на огороде, и все мы ее очень боялись: по общему у нас поверью, тут жили злые духи. Это было место надежное: к бане обыкновенно никто ночью не приближался, но у меня один страх одолел другой, и я сам не заметил, как очутился в бане, да еще в самом опасном ее месте, под полком, где собственно и полагалось самое гнездо живущего здесь злого духа. Под этим высоким темным полком мне было прекрасно: никакого страха я не чувствовал; утвердил там в уголке на земле унесенный из кухни образ и начал перед ним опять молиться. Все звал простым детским языком богородицу: «Благодетельница, матушка, голубушка, заступись за меня!» и вдруг почувствовал, что все кончено: что она меня услышала и мне больше ничто не угрожает, и с этим уснул, только слышу кто-то меня зовет. Вслушиваюсь и узнаю голоса товарищей, которые, бог их знает почему, узнали, что я в бане, и кричат: «Выходи скорей: тебя не будут сечь, – к нам ревизор приехал». И точно был ревизор, и меня не секли, а смотрителя сменили. В этом событии все мы видели чудо, и оно мне вспомнилось здесь вместе с другим, не менее памятным мне событием. Отца моего перевели для пользы службы в другой город, я был тогда в пятом классе и считался первым учеником, но когда мне пришлось брать из семинарского правления свидетельство, ректор мне объявляет, что мне напишут: во всем успехи посредственные. Мне это так обидно показалось, что я заплакал, а ректор говорит:

– Ты, братец, не малодушествуй, не плачь, – говорит, – это мы общим советом так положили не для того, чтобы тебя обидеть, а для нашей славы. Если бы мы написали, что ты у нас первым учеником был, так они бы тебя без экзамена приняли, а теперь экзаменовать станут и подумают: если у них посредственные таковы, то каковы же лучшие? Это нам слава будет, а ты постарайся.

Поехал я стараться. Ехали мы по-тогдашнему долго, с дневками да покормками, и это мне не в тягость было, а, напротив, даже очень занимало, но только за этим путем я совсем от наук отстал и, как по приезде на место мне назначили явиться на экзамен со всеми четвероклассниками, на меня напал страх неопределенный. И я стал просить угодника, которого мощи в том городе: «Помоги да помоги, чтобы меня без экзамена приняли». В день несколько раз к нему с этой мольбой обращаюсь, и ночью в тонком сне ему об этом молюсь, и в знамение, что молитва моя услышана, все жду того дивного покоя, который я ощущал после своей детской молитвы под баннным полком. Но вожделенный покой не приходит, и я стал переговариваться в мыслях моих с угодником даже укоризненно: «Что же, мол, я тебя прошу, а ты мне не помогаешь?» А экзамен все ближе и ближе и, наконец, совсем день его подошел, – нет помощи. Иду на экзамен и думаю: «Ну, угодник божий, я ли тебя не просил, и вот ты мне не помог: не верю теперь, что ты помочь можешь».

Пришел в этом ожесточении и сижу в каморе с новыми своими товарищами, и ждем только экзаменаторов. Все эти ребята веселы, потому что знают, как их спросят и что они отвечать станут, и потому шумно в чехарду играют – друг через дружку прыгают. За партами только я да другой мальчишка, – такой немощный, слабый и зеленый. Посмотрел я на него, а он на меня и говорит:

– Зачем ты в чехарду не идешь?

Я отвечаю, что мне некогда, а вот, мол, зачем ты не играешь?

– Где мне, – говорит, – играть: я и ходить не могу, – меня три месяца лихорадка бьет: я умру.

Я посмотрел на него: совсем мертвец сидит. А тут мне пить захотелось, я встал и только на середину каморы отошел, как вдруг меня сзади кто-то бросил с ног о плитяной пол. Я оглянулся, а это тот лихорадочный перепрыгнуть через меня вздумал. И что это ему вздумалось – в ум себе не возьму, но только хотел свою книгу поднять, а у меня рука мотается. Посмотрели – сломана. Отнесли меня в больницу и положили, а через час сюда инспектор приходит и говорит мне:

– Ну что, брат, делать, теперь тебя нельзя экзаменовать: мы тебя уже без экзамена приняли.

«Вот тебе, мол, угодник свое дело и сделал», а за дерзость свою я целый месяц со сломанною рукою пролежал и только в окно посматривал, как другие на зеленом выгоне играли. А дни, как назло, стояли чудесные – и я, замерзая, словно чуял все их тепло, и, кажется, никогда иллюзия лета не была мне так осязательна, как в этой зиме смерти. До того осязательна, что она точно начала согревать этот нежно-розовый снег, и я начинаю верить, что я не погибну здесь, а избавлюсь. Как и чем? – сам не знаю, но избавлюсь, и смотрю вдаль острым, внимательным взглядом, и точно вижу против солнечного заката далеко, далеко по надгорью какую-то точку... Малая точка, но подвижная: все как-то как черточки чертит, чертит, и всё ближе, ближе, и приближается и растет... Что это такое – разобрать не могу, но, кажется, человек. Скользнула эта фигура по розовому нагорью к скату, где свет смиренней, – вижу, несомненно человек, но вместо головы у него что-то высокое этакое и белое, даже искрится. Точно идол индейский: и руки вижу, и в них шест и еще что-то... Узнаю: это мой Кузьма-Демьян летит на лыжах; через плечо у него веревка, на ней волочит за спиной другие лыжи; руки перед собою держит, будто поднос подает, а на них лежит четверть медвежатины, совсем в шерсти. Глазам своим не верю, что это спасение мне пришло, а он говорит:

– Здравствуй, бачка! – и с этим бросил шест в снег, а медвежатину мне прямо к носу: – Лопай, – говорит, – бачка.

Я припал к тому месту, где отрез был, и начал мерзлое мясо зубами рвать и сосать. А самоед этим временем лыжи снимает. Я смотрю [Зачеркнуто: «на него и думаю: „Ах ты, невер, невер: спас ты мою жизнь!“»] на него и все никак не могу понять, что это у него на голове, и спрашиваю его об этом. А он отвечает:

– А это, – говорит, – то, что ты мне забыл денег дать.

Я, признаюсь, не совсем его понял, но всматриваюсь и вижу, что это у него его долгие волосы так все снегом пропушены и стоймя смерзлись.

– Как же, – говорю, – ты свой трех потерял?

– Нет, – говорит, – его не потерял, а я его там оставил, где тебе медведя взял.

– Да, – говорю ему, – это я худо сделал, что я тебе денег не дал. Но что же это за жестокий хозяин был, что он тебе не поверил и трех с тебя снял?

А он заступается.

– Нет, – говорит, – с меня трех никто не снимал, – я его сам положил.

– Это зачем?

Темняк. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru

– Надо, – говорит, – так было.

И рассказывает, что он прибежал по своим приметкам к чуму и нашел там убитого медведя, а хозяев нет, верно опять на охоту ушли.

– Ну я, – говорит, – думаю, может быть он не скоро повернет, а ты тут с голоду околеешь, отрубил у зверя лапу да лыжи взял, а ему трех покинул.

– Напрасно, – говорю, – покинул: мы ему деньги отдадим.

– А нельзя, бачка, он вернется – сомневаться будет.

– Ну, – говорю, – пусть бы мало и посомневался: не велика беда.

– Как, – отвечает, – бачка, не велика: а тот-то Хозяин?

– Какой?

– А что сверху глядит: он ведь все видит и обижаться станет, что я человека смутил.

– А ты, говорю, очень того Хозяина уважаешь?

– Как же, бачка, не уважать: он олешков дает[и собачку кормит]... А я, бачка, не спал, теперь спать буду.

И как кувырнулся в снег, так и уснул, как дитя; ну а я, признаюсь вам, тут-то над ним уже всласть помолился и о нем и о всех. У них же святой закон в сердцах.

Поспал он, сердяга, а потом встал, подладил под меня лыжи и дотащил меня за собою до того чума, где медвежатиной раздобылся: тут я за все расплатился, взял собак и поехал, только не далее в тундру, а к себе в монастырь, где нашел и своего отца Петра и вести про него, что[он] своему вожаку нарочно от меня в степи отстать велел.

Я эти слухи туне пустил, но с тех пор усмирив в себе свой апостольский пыл и на тихий ход проповеди не претендую, а шла бы она хорошо, а не то что скоро. Когда же мне доводится слышать разговор вроде вашего, то я всегда вспомнить этого моего темняка очень счастлив, и я верю, что он в день суда не погибнет, а оправдан будет по закону, написанному в сердце его перстом отца его и отца нашего.

Мы все без всякого условия отвечали: «Аминь!»

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!